

Бессмысленность и смысл Русской революции: Февраль и Октябрь в истории России

Ответ на вопрос о смысле Русской революции зависит от решения проблемы бессмысленности и смысла человеческой истории вообще. Одной из важнейших потребностей всякого нормального человека является осмысление своего жизненного пути, придание рационально-ценностного единства оставшемуся вчера и полагаемому завтра, которое дает надежду сегодня — и превращает внешне бессмысленное, хаотическое нагромождение событий и обстоятельств в *историю*, имеющую *смысл*. Так же и для целого народа (нации, цивилизации... — любого исторически конкретного общества) экзистенциально необходимой потребностью, корневым условием бытия является конституирование смысла своей истории, связующего прошлое, настоящее и будущее в единый, надвременной (причастный вечности) путь.

Однако во времена, пока все относительно неплохо, и человеку, и обществу недосуг всерьез задуматься о смысле собственной истории, о том, что именно сообщает ей характер целенаправленного движения и какова эта цель. Напротив, в смутные времена, в критические периоды войн и революций, потрясений и потерь, когда жизненно важные ценности оказываются под угрозой необратимого уничтожения, наиболее остро встает вопрос о смысле и бессмысленности, разумности и иррациональности, космосе и хаосе, логике и безумии истории.

То, что безумием могут быть охвачены широкие массы и даже все общество, известно давно. «Изучая историю различных народов, мы приходим к выводу, что у них, как и у отдельных людей, есть свои прихоти и странности, периоды возбуждения и безрассудства, когда они не заботятся о последствиях своих поступков. Мы

обнаруживаем, что целые социальные группы внезапно останавливают свои взоры на какой-то одной цели, преследуя которую, сходят с ума; что миллионы людей одновременно попадают на удочку одной и той же иллюзии и гонятся за ней, пока их внимание не привлечет какая-нибудь новая глупость, более заманчивая, чем первая. Мы видим, как одну нацию, от высшего до низшего сословия, внезапно охватывает неистовое желание военной славы, а другая, столь же внезапно, сходит с ума на религиозной почве, и ни та, ни другая не могут прийти в себя, пока не прольются реки крови и не будут посеяны семена из стонов и слез, плоды которых придется пожинать потомкам»¹, — записал в 1841 г. автор ставшей знаменитой книги о массовых безумствах Ч. Маккей. Однако если в XIX в. большинство историков все же предпочитали более оптимистичное видение истории, то XX в. безжалостно скомпрометировал веру в непрерывный прогресс и рациональную логику исторического процесса.

Ф. Фукуяма в своем нашумевшем «Конце истории» приводит любопытное и поучительное сравнение кардинально трансформировавшихся (от века XIX-го — в веке XX-м) концептуальных представлений об истории человечества на примере двух ярких цитат: «В 1880 году некто Роберт Макензи мог написать такое: "История человечества — это летопись прогресса, летопись накопления знания и роста мудрости, постоянное движение от низшего уровня разума и процветания к высшему. Каждое поколение передает следующему унаследованные им сокровища, измененные к лучшему его собственным опытом, обогащенные плодами всех одержанных им побед... Рост благосостояния человека, избавленный от прихоти своевластных принцев, подлежит теперь благому управлению великих законов Провидения"»². А чуть ниже Фукуяма приводит грустное признание известного британского историка Г. Фишера, сделанное уже чуть более полвека спустя (в 1934 г.): «Люди более мудрые, чем я, и более образованные различали в истории сюжет, ритм,

заранее задуманную систему. Эти гармонии от меня скрыты. Я вижу только поток бедствий, следующих одно за другим, как волны...»³.

Под таким углом зрения, Русская революция 1917 г., с одной стороны, выступает классическим средоточием социального безумия рекордного по массовым психозам XX в., и способна служить хрестоматийным образцом и идеально-типической моделью «коллективных сумасшествий» вообще. Но, с другой стороны, общество гораздо больше, чем в умножении красочных метафор о метафизической сущности революции и принципиальной непознаваемости хаоса смутных времен, нуждается в рациональном преодолении (или хотя бы частичном ограничении) смут и революций, в аналитическом осмыслении и прагматическом учете их реальной природы и позитивных закономерностей. По мемуарам И. Г. Эренбурга, «самое главное было понять значение страстей и страданий людей в том, что мы называем "историей", убедиться, что происходящее не страшный, кровавый бунт, не гигантская пугачевщина, а рождение нового мира с другими понятиями человеческих ценностей...»⁴. И прав Ф. А. Степун, подчеркивая: «Революция... может иметь положительный и отрицательный смысл, но она не может не иметь никакого смысла. Для нее как для события, имманентного судьбе человечества, неимение никакого смысла было бы равносильно небытию»⁵.

Перефразируя цитированного выше Фишера, выражу личное отношение к поставленной проблеме. Многие люди, более мудрые, чем я, видят в Смуте Семнадцатого года только бессмысленный «поток бедствий, следующих одно за другим, как волны». Но, сознавая заведомую уязвимость своих усилий, я все же пытаюсь обнаружить и вычленить в этом мутном потоке элементы исторической логики, определившей сравнительную последовательность и единство общероссийского социального сдвига: от бессилия оставшейся мифом демократии — к установлению ставшей реальностью диктатуры.

Тому, как в течение нескольких месяцев от Февраля к Октябрю 1917 г. в борьбе с «всеобщим безумием» поочередно потерпели с трудом объяснимое на рациональных началах крушение и имевшая многовековую и практически всенародную поддержку отечественная монархия, и встреченная поначалу «всенародным» ликованием так называемая «Февральская демократия», посвящены горы специальной литературы. Но ни о каком единстве в научном сообществе по вопросу о смысловых основаниях такой последовательности событий и речи быть не может.

Проблема истолкования смысла смут, революций и переворотов в современном мире становится все более политически злободневной, служа идентификатором «своих» и «чужих». И в России образца 2012-го, уже отметившей последние *до*-вековые круглые даты Февраля и Октября, сложно не заметить раскол общества на *февралистов* и *октябристов*, для которых *Февраль* и *Октябрь* являются не столько исторически памятными символами отечественного политического календаря, сколько реальными ориентирами будущего, принципиально по-разному генерализующими «альтернативные» смыслы модернизационно-революционных устремлений элит и масс. Так обретает «новое» звучание без малого столетний спор о «спасительности» и «закономерности» либо «катастрофичности» и «случайности» победы большевиков над первоначально более популярными и авторитетными партиями, об исторической «разумности» и «логичности» — либо «безумстве» и «патологичности» 1917-го.

Разумеется, противопоставлять подобные «две линии» и сложившиеся на их основе «два лагеря» возможно лишь условно. Внутри них тоже нет никакого единства. Так, В. И. Ленин, будучи первоапостолом советской агиографии Октября, заповедавшей догматы о разумной закономерности революции и высокой сознательности ее участников, сам нередко использовал по политическим поводам термины из

области психиатрии⁶. Использование фразеологии, связанной с выражением *безумности* смутного времени, тем более характерно для сторонников «демонологической» историографии «октябрьского переворота», склонных полагать, что смута бессмысленна по самой своей природе. Еще А. Ф. Керенский, продолжая высоко оценивать Февраль, 25 октября 1917 г. подписал приказ № 814, в котором официально (в юридическом документе!) вынес «медицинский диагноз» Октябрю: «Наступившая смута, вызванная безумием большевиков, ставит государство наше на край гибели»⁷. А вот И. А. Ильин уже и саму Февральскую «демократическую» революцию (которую в среде русской эмиграции первой волны и нынешних отечественных «либералов» принято с почтением именовать «Великой» — в противовес «мороку октябрьской катастрофы») определял в целом как «февральское безумие»⁸.

Одним из излюбленных «медицинско-риторических» приемов самых разных партий было обвинение друг друга в бессмыслице, в отсутствии собственного осмысления революционной стихии, в слепом безумии, подчиняющемся некой чужой и злой воле. И это признание происходящего в принципе не совместимым с душевным здоровьем (отдельных лиц, организаций, органов и структур власти, народа и страны в целом), сравнение установившегося нового «демократического порядка» в целом с «дурдомом» — не имеет прямой адресной связи именно с большевизмом. По мнению некоторых зарубежных исследователей, многие большевистские лидеры сами «были убеждены в полном безумии происходящего» и «только Ленин мог управляться с этим сумасшедшим домом»⁹.

Сам Ленин позже выгодно оттенял контрасты здравомыслия и реалистичности курса своей партии, в отличие от бессмысленной неадекватности ее псевдореалистических оппонентов, резонно вопрошая: «Нашелся ли бы на свете хоть один дурак, который пошел бы на революцию, если бы вы действительно начали

социальную реформу?»¹⁰. В этой связи уместно припомнить (увы, так и не понятое всеми теми партиями, которые, чрезмерно опасаясь «излишне» радикальных мер, упрямо продолжали в условиях разлива всенародной смуты любой ценой хранить ортодоксальную верность доктринальному «реализму») пророческое предостережение Ф. М. Достоевского: «реализм, ограничивающийся кончиком своего носа, опаснее самой безумной фантастичности, потому что слеп»¹¹.

Рассмотрения Русской революции в целом как психопатологического процесса, своеобразной разновидности психической эпидемии, не чурались и наблюдавшие ее непосредственно профессиональные психиатры, признанные в своем врачебно-научном кругу¹². Множество косвенных подтверждений, что использование термина «безумие» при оценках «Русской смуты» не являлось лишь расхожим конъюнктурным штампом, а чем-то гораздо более глубоким и неслучайным, можно найти, обратившись к творческим прозрениям цвета художественной интеллигенции Серебряного века.

«Кто ты, Россия? Мираж? Наважденье? Была ли ты? есть? или нет? Омут... стремнина... головокруженье... Бездна... безумие... бред...» — выражал мистико-поэтическое видение русской истории Максимилиан Волошин.

«Зачинайся, русский бред...» — сходным образом высказался Александр Блок.

«Было время безумных действий, время диких стихийных сил...» — сформулировал Сергей Есенин.

Как «кровавое безумие», «повальное сумасшествие», «радостно-безумное остервенение» характеризовал весь 1917-й и последовавшие за ним «окаянные дни» Иван Бунин.

Напротив, как «святое безумие», вдохновенно противостоящее в таинстве истории безрадостному и бескрылому «мещанству», приветствовал Октябрь Андрей Белый. И по этой причине с ним порвала отношения Зинаида Гиппиус, ненавидевшая революцию за то, что в ее корне «лежит Громадное Безумие».

Подобных оценок можно привести еще множество, и, в таком ракурсе, 1917-й действительно может быть интерпретирован как ярчайший образец проявления безжалостности и могущества иррациональных сил в истории¹³.

Восприятию Русской революции как бессмысленного буйства стихии способствует и целый комплекс известных, но до сих историографически недоосмысленных пластов — в качестве примеров укажем хотя бы на *четыре важных фактора смуты и революции (хотя их много больше)*. [В силу ограничения настоящей статьи по объему, излагаю все эти факторы лишь тезисно, но привожу ссылки на полные тексты других работ, где представил одну из конкретных проблем более развернуто — П. М.]

1. Женское начало в Русской смуте/революции

Явно недостаточно рационального осмысления огромной роли женщин и женского начала вообще в событиях Русской революции и «Русской смуты» на всех ее уровнях¹⁴. О «вечно бабьем» в русской душе много размышляли отечественные философы и писатели, но, с конкретно-исторической точки зрения, эта проблема остается почти «белым пятном» историографии «Февральской демократии», несмотря на то, что последняя, по сути, ведет свое происхождение как раз с «бабьего бунта». А, как метко подметил В. П. Булдаков — один из немногих наших историков, пытавшихся уловить смысл «бабьего» в «Красной смуте»: «...на Руси там, где бабий бунт, там пиши пропало»¹⁵.

Необходимо научное осмысление того факта, что в условиях, когда слились в невиданном ранее резонансе эпохальные катаклизмы мировой войны, модернизации, революции, падения монархии, кризиса православия, потери «почвы», тотального ценностного шока, русские «бабы» впервые в отечественной истории были допущены к участию в политике (и отнюдь не только в смысле избирательного права). Рост удельного веса женщин в гражданском

населении и патологические изменения гендерных пропорций в различных сферах социальной практики активно способствовали эскалации девиантных форм поведения. Невыносимая ситуация в стране и отчаянная тоска по мужику способствовали беспрецедентному вовлечению женщины в различные формы социальной агрессии, погромы, линчевания и т. п., делали ее легкой добычей демагогов. Женский вариант народных архетипических черт еще менее соответствовал либеральной альтернативе, но оказался более отзывчив к инверсионной агитации радикалов, обещавших немедленно решить все проблемы, вернуть мужиков с фронта и указывавших на тех, «кто во всем виноват».

Увы, голос бабы не был вовремя услышан властью — и в результате стал для Русской революции чем-то вроде лейтмотива, напоминавшего заглушающий шепот разума рев «валаамовой ослицы» (причем в обоих смыслах этого слова — и как предельно молчаливого и покорного человека, который неожиданно для всех вдруг посмел высказать свое, отличное от других, мнение — и как предельно упрямой, неумной и неграмотной женщины). В начавшихся благодаря самоубийственному попустительству властей «революционных» беспорядках, главным субъектом которых были опьяненные «демократией» (и опьяненные не только в переносном смысле) толпы, именно бабы играли совершенно особую — «толпообразующую» и толповдохновляющую» — роль.

Во-первых, бабы, очень часто выступая самыми активными и агрессивными участниками толпы, являлись, как правило, еще и ее основным эмоциональным катализатором — и уже самим фактом своего участия выполняли функции подстрекательства, поощрения мужиков на все более и более радикальные действия, заражали их психопатическими реакциями, нагнетали особую атмосферу «бабской» истерии и всеобщего умопомрачения, стимулировали общую психопатологию смуты. «Политически» активные бабы становились актором

«массовизации» и «охлократизации» социально-политического процесса, детонатором насилия и провокатором всевозможных коллективных девиаций.

Во-вторых, как давно исследовано специалистами по психологии толпы, даже просто «присутствие в толпе женщин и детей... плохо еще и потому, что звук высокой частоты — женские или детские крики — в стрессовой ситуации оказывает разрушительное влияние на психику»¹⁶. Весь звуковой ряд смуты — скорее женский, нежели мужской: это, прежде всего, не мужицкий гомон, а бабий визг (да и визуальный образ смуты и революции точнее передает все-таки не расхристаный мужик, а баба с голой грудью — и как призыв мужских масс на баррикады во имя жен и матерей, и как манящий символ хмельной «революционной» вседозволенности).

В-третьих, представляя собой идеальную питательную массу для стихийного формирования, эмоциональной подзарядки и раскачивания амплитуды эпидемического разгула толп, зажигательное сырье для хулиганствующей охлократии и праздничный магнит для измученных воздержанием и адскими фронтовыми буднями солдат и матросов, бабы, в большинстве своем еще более чем мужики, «темные» в вопросах политики, были более легковверны и отзывчивы — как на запугивание, так и на пустые обещания — и являлись идеальным объектом для манипуляции, демагогии и всевозможных форм политической и политиканской суггестии.

В-четвертых, бабы, пользуясь относительной (обусловленной самой половой принадлежностью, здоровым мужским инстинктом и культурными табу) безнаказанностью своих противоправных и подстрекательских действий, служили незаменимым медиатором между революцией и войсками. И в том, что войска переходили на сторону революции, основная заслуга, как правило, принадлежала именно бабам. Их роль вообще трудно переоценить в типичной ситуации, когда «...маршевые батальоны автоматически ставились в очень

неудобное психологическое положение: стрелять в голодных баб? Одно дело — социалисты и революционеры, другое дело — бабы, которым, может быть, дома детишек кормить нечем»¹⁷. Знавший толк в работе с массами Л.Д. Троцкий с удовлетворением отметил: «Большую роль во взаимоотношениях рабочих и солдат играют женщины-работницы. Они смелее мужчин наступают на солдатскую цепь, хватаются руками за винтовки, умоляют, почти приказывают: "Отнимите ваши штыки, присоединяйтесь к нам". Солдаты волнуются, стыдятся, они тревожно переглядываются, колеблются, кто-нибудь первым решается, и — штыки виновато поднимаются над плечами наступающих, застава разомкнулась, радостное и благодарное "ура" потрясает воздух, солдаты окружены, везде споры, укоры, призывы — революция делает еще шаг вперед»¹⁸.

Ну и наконец, бабам принадлежит решающая роль в характерном для смуты общесоциальном смещении «границ дозволенного» все дальше и дальше, за «точку невозврата». Их участие в массовом насилии и всеобщем «крушении устоев» было более заметным — и более знаковым (по сравнению с куда более «традиционным» мужским насилием) — и делало это крушение необратимым, отменяющим саму гипотетическую возможность эволюционной альтернативы революции. По меткому замечанию В. П. Булдакова, «ужасают не масштабы насилия, а то, что оно вызывало удовлетворение у женщин. Это и есть важнейший показатель психопатологического вырождения революции»¹⁹.

Таким образом, «бабье» начало революции в известном смысле предопределяло ее катастрофическую направленность, делало неизбежными ее трагические для всего народа последствия.

В аналитических обзорах важнейших правонарушений Главного управления по делам милиции МВД Временного правительства по поводу так называемых «продовольственных эксцессов» (под которыми

подразумевались банальные погромы), подчеркивается: «...характерной чертой всех продовольственных эксцессов является преобладающая роль в них женщин. Женщины не только составляют необходимый и важный элемент в толпе, производящей беспорядки, но сплошь и рядом являются инициаторами продовольственных эксцессов... призывают к насилиям и погромам, поощряют и возбуждают солдат к разгромам и хищениям... Во многих случаях эксцессы совершаются толпами, состоящими исключительно из женщин»²⁰.

На таком историческом фоне поэтическая формула «У войны не женское лицо» выглядит гораздо дальше от жизненных реалий, чем библейская (Сирах 25:21): «Всякая злость мала по сравнению со злостью жены». А разудалые солдаты и матросы «демократии» 1917-го предпочитали простонародный вариант: «Без баб и вина и война не нужна». (Да и вряд ли случайным можно считать тот факт, что целый ряд явлений катастрофического, стихийного порядка (война, смута, революция... да и те же «катастрофа» и «стихия») обозначается словами женского рода).

Это вовсе не значит, что женский гендер Русской революции исчерпывается лишь изоморфностью толпе, нагнетанием истерического градуса и провокацией мужчин на массовое насилие. Есть и обратная сторона.

Женщины, по природе менее склонные к поискам рационального смысла и контролю над своими рефлексивными действиями, как правило, обладают более развитым инстинктом самосохранения, размножения и выживания потомства — и редко ошибаются, интуитивно выбирая сторону победителя.

Или, напротив, в социальных явлениях массового порядка побеждают те силы, на стороне которых оказываются женщины.

И из всех конкурентоспособных политических сил России удачнее всех особенностями женской психологии Русской революции воспользовался большевизм. Как признал сам его вождь: «Из опыта всех освободительных

движений замечено, что успех революции зависит от того, насколько в нем участвуют женщины»²¹.

2. «Зеленый змий» на службе «Красной смуты»

В качестве еще одного фактора мнимой «бесмысленности», но не выдуманной «беспощадности» множества постфевральских «русских бунтов», еще до Октября слившихся в один «всероссийский погром», отметим роль алкоголя — как фактора, не просто характеризующего образ смуты, но придающего некое социально-химическое единство самой смуте в целом, объединявшего представителей самых разных классов, сословий, социальных статусов, гендерных ролей, демографических групп, географических регионов и т. д. Алкоголь эффективно участвовал в формировании главных социокультурных коммуникаций смуты, соединяя в один всеобщий мутный поток события центральные и периферийные, городские и сельские, частные и общинные, гарнизонные и фабричные. Истоиво пьющие легко превращаются в неистово буйствующие, и связанные с этим девиации составляют изрядную (если не непременно) часть набирающей обороты *Смуты*. Равно как и необходимость усмирить мутные потоки хмельного асоциального буйства, перегородив их государственной плотиной твердой *Власти*, способной восстановить трезвый порядок, становится неотъемлемой составной частью механизма преодоления смуты и возвращения общества к норме.

Homo ebrius — «Человек пьяный» (или *Homo nimii vini* — «Человек, чрезмерно пьющий») — является одной из реальных движущих сил всевозможных массовых насильственных действий, крупных беспорядков и социальных отклонений в истории. Еще с эпических времен Василия Буслаева неизменно популярен в подвыпивших и (или) еще желающих выпить массах адресно выверенный лозунг призыва на безудержный русский пир: «*Кто хочет пить и есть из готового — валися к Ваське на широкий двор*»²² (Да и былинный святой (*sic!*) богатырь Илья

Муромец, бывало, обидевшись на князя, созывал массы сходным кличем: «Ах вы, голь кабацкая, доброхоты царские! Ступайте пить со мной заодно зелена вина...», — что отдельные исследователи склонны рассматривать как древний прообраз всей Русской революции 1917 г.)²³.

Вопрос о степени влияния алкоголя на ход русской истории относится к числу самых болезненных и противоречивых. Но еще А. Н. Радищев так писал об исключительной значимости этого вопроса для отечественной истории [*сохранена орфография и пунктуация издания — П. М.*]: «Посмотри на русаго человека; найдеш его задумчива. Если захочет разгнать скуку, или как то он сам называет, если захочет повеселиться, то идет в кабак. В веселии своем порывист, отважен, сварлив. Если что либо случится не по нем, то скоро начинает спор или битву. — Бурлак идущей в кабак повеся голову и возвращающейсѣ обгагреной кровию от оплеух, многое может решить доселе гадательное в Истории Российской!»²⁴.

Однако, несмотря на уже изрядный массив работ, посвященных алкогольной тематике, вопросы о месте и роли *Homo ebrius* и пьяных погромов в реальной расстановке политических сил и борьбе за власть в ходе постфевральской смуты остаются недоосмысленными. А ведь и этот фактор сумел поставить себе на службу только большевизм (и речь ни в коем случае не идет о попытках свести результаты массовых волеизъявлений к последствиям массовых возлияний).

В частности, именно пьяным погромам принадлежит огромная роль в деле формирования и вооружения отрядов Красной гвардии, что пока явно недостаточно осмыслено в историографии Русской революции²⁵.

3. Российская многопартийность как фактор смуты/революции

Одной из настойчиво культивируемых «аксиом» современного российского общественнознания является

мифологема о конструктивной роли многопартийной системы в деле развития «гражданского общества» и вообще демократии, вне зависимости от социокультурных особенностей конкретного социума. С этой априорной (или даже антиприорной, во всяком случае применительно к истории России 1917 г.), теоретической конструкцией тесно связан и популярный историографический миф, согласно которому российский электорат в массе своей составляет сознательное мнение о политической партии путем изучения ее программных документов и соотнесения их со своими «объективными» интересами. Опираясь на двойную «обоснованность» — и «снизу», и «сверху» (наивная вера обывателей плюс заведомый цинизм манипуляторов), этот миф остается методологической основой немалой части работ, специально посвященных так называемой «борьбе политических партий за народные массы». Теоретический пафос подобных «исследований» строится, по сути, на смехотворном представлении о том, что между бумажными текстами партийных программ и подлинным успехом тех или иных конкретных партий в массах существует прямая и действительная взаимосвязь.

Однако надо признать, что, во-первых, абсолютное большинство населения России (и не только) как не знают партийных программ теперь, так тем более не знали их тогда. И, во-вторых, «партии в России в концентрированном виде выражали набор интеллигентских утопий, доктринального прекраснотушия или сектантской оголтелости, а не являлись прагматичным оформлением интересов тех или иных социумов», «российская многопартийность действительно выглядит воплощением своеобразной доктринальной шизофрении интеллигенции, а отнюдь не национально-консолидирующим, конструктивно-динамичным целым. Это своеобразный, порожденный имперским патернализмом «пустоцвет», способный, однако, провоцировать смуту», а «если в смутные времена кто-то выигрывает, кто-то чаще бесповоротно — проигрывает, то из этого не следует, что восторжествовали чьи-то

программные установки»²⁶.

Политические партии в России вообще различались (и с тех пор в этом смысле мало что изменилось) не столько уставами и программами (которых все равно никто не читал), сколько типом политического темперамента, силой политической воли, общим стилем поведения в общении с массами и друг с другом, конкретным имиджем, формировавшемся в массовом сознании. Межпартийное соперничество в борьбе за политические симпатии внешне далекого от политики «русского мужика» (не говоря уже о «русской бабе») разворачивалось отнюдь не в рационально-политическом измерении.

И снова необходимо честно признать, что в этом измерении к Октябрю 1917-го у партии большевиков фактически не осталось конкурентов²⁷.

4. Массовое правосознание как доминанта смуты и революции в Империи России

Еще одним крайне живучим россиеведческим мифом является представление о принципиально правонигилистическом характере массового правосознания в России, через который, в частности, так удобно «объяснять» всяческие ужасы «Красной» и всех прочих русских смут. Этот миф основан на непонимании либо игнорировании того факта, что «нигилистичность» правового сознания (в том числе и по отношению к позитивному праву, если оно осознается как «неправое») является его сущностной характеристикой, ибо сознание *правовое* (в отличие от конструктивно ориентированного сознания *религиозного, нравственного, политического*) ориентировано принципиально негативно. *Правовое* функционально предустановлено именно на реальное противодействие *неправому*. И правы те современные ученые, которые подчеркивают, что «ситуация массового нормативного нигилизма не отвергает, а как раз предполагает весьма высокое морально-правовое сознание общества,

включающего свои, традиционные способы поддержания социальной стабильности»²⁸.

На анализе этого фактора остановимся чуть подробнее, ибо именно в нем, по нашему мнению, и кроется ключ к преодолению теоретически ошибочных и практически опасных представлений о бессмысленности русских бунтов и смут.

В «смутные» времена массовое сознание (как стихийно производное от общественного сознания в целом) не просто служит ареной борьбы различных политических сил за массы, но и выступает в качестве важнейшего критерия фактической жизнеспособности так называемых «исторических альтернатив». Любой «исторический выбор пути» становится действительно историческим, лишь когда он признан массами, получил поддержку в массовом сознании. И напротив, те политические силы, которые пытаются претворять в историю идеи и ценности, не адаптируя их к реалиям массового сознания, сами лишают себя исторического будущего.

Массовое правосознание как обыденная разновидность (ситуативно активизирующаяся ипостась) общественного правосознания есть наиболее реальная и конкретная форма его практического существования, психически объединяющая представителей разных групп общими переживаниями по поводу восприятия тех или иных социально значимых действий как неправовых. В ситуациях масштабных общественных потрясений (войн, смут, революций), эти переживания становятся значимы настолько, что активизируют особую социальную общность — массы (которые в «нормальное» историческое время относятся к политико-правовым процессам индифферентно). Так массы из пассивного объекта элитарных манипуляций на время становятся активным субъектом политической истории.

В рамках сложной и противоречивой структуры *массового* сознания, именно *правовое* играет наиболее активную и значимую роль в кризисных ситуациях

общественного противодействия, в случае реальной или мнимой угрозы жизненно важным ценностям. В этом контексте, массовое правосознание, аккумулирующее соответствующие архетипические народные черты, может быть осмыслено как ключевой механизм самозащиты и самовоспроизводства общества и цивилизации. Массовое правосознание защищает «последний рубеж обороны» нации, на котором осуществляется охрана и воспроизводство ее базисного жизненного (религиозного, нравственного, политического, экономического и т. д.) качества. Этот основополагающий минимум исторически конкретной цивилизации защищен массовым правовым чувством и соответствующим потенциальным массовым протестом, вплоть до «беспощадного» (но, повторимся, отнюдь не «бессмысленного») бунта. Правовой компонент массового сознания служит рациональным «спусковым механизмом» иррационального включения масс в политический процесс, переводя *социально-психологическое* — в *идеологическое, социокультурное* — в *политическое*. В качестве охранного комплекса идентичности конкретного общества, при нарушении «*меры допустимого*» массовое правосознание запускается как массовый негативизм. Иначе говоря, выступает в качестве детонатора «социального взрыва» по достижении «критической массы» *неправомерного* внешнего воздействия. В кризисные моменты истории, в ситуациях исторического выбора, массовое правосознание становится одним из доминантных факторов политического процесса, определяющим победы и поражения конкурирующих политико-правовых альтернатив.

Особую актуальность в этой связи приобретает социокультурный анализ переломных событий истории, осуществляющий сопоставление массовых, в том числе «правосознательных», ценностных ориентаций и соответствующих ценностей, предлагаемых массам со стороны борющихся политических сил. Такой исследовательский подход дает возможность по-новому

взглянуть на иерархию факторов, обеспечивающих победу той или иной партии в многофакторной борьбе, и шире — на проблему выбора одной исторической альтернативы из нескольких возможных (то есть понять смысл этого выбора).

Так и при анализе событий Февраля—Октября 1917 г. целесообразно сопоставить основные правосознательные интенции масс и партий как пресловутых «исторических альтернатив», которые пытались прийти на смену Самодержавию. В результате массы вынужденно вышли на первый план политической истории и исполнили главную роль в расстановке политических сил: «не Ленин и Троцкий пришли к власти, а сама *масса*»²⁹, ибо действительной силой истории были отнюдь не классы, а массы — и «захват этими «массами» в октябре 1917 года власти и знаменует собою подлинную Революцию»³⁰.

Но основой политико-правовой культуры абсолютного большинства населения, несмотря на постфевральские декорации, продолжали служить вековые традиции общинности с ее своеобразным авторитарным коллективизмом и резко отрицательным отношением к индивидуализму, категорическим неприятием идеи частной собственности на землю, отрицанием оторванного от жизненных реалий позитивного права (доходящим до полного к нему презрения в случае несоответствия текущего законодательства народным представлениям о Правде, несогласованности с традиционными общинными ценностями, необеспеченности Идеей и эффективно работающим на нее репрессивно-властным механизмом).

Поняв, что сменившая Царя «демократическая власть» не спешит дать ни «Мира», ни «Земли», ни новой «Правды», массы приступили к активным «самочинным» действиям по реализации своих чаяний традиционными методами. И показали себя не пассивным объектом политики и права, а могущественной силой, на которую никто не мог вполне опереться. Воздействие масс на политическую жизнь страны проявлялось во всех значимых событиях, сказывалось на позиции и действиях власти,

партий и самых разных организаций. В условиях безвластия официальных структур, массы ситуативно все чаще стали выполнять функции фактического органа власти, прибегая к традиционно свойственным ей методам массового насилия. По официальным оценкам аналитиков Временного правительства, к осени 1917 г. движение народных масс приняло «антигосударственный характер»³¹. И, как подчеркивалось в аналитических обзорах МВД, сами массы начали уставать от безвластия³².

Главный вопрос смутных времен (вопрос о легитимности либо «самозванности» претендующих на власть сил) решался в системе архаически основополагающих координат «свой-чужой». И если либерально-демократические правовые идеологемы оказались внешними по отношению к социокультурным кодам массового сознания (более того, при сопоставлении образовывали целую систему бинарных оппозиций по принципу «чужой-свой»), то лозунги и тактика ленинцев были направлены на их актуализацию и практическое использование (а соответствующие идеологемы находили живой отклик в массах по принципу «свой-свой»).

Секрет успеха большевиков прост — во время массовых «неуправляемых» процессов (бедствий, беспорядков, паники и т. п.) — кто-то должен подавать простые четкие жесткие команды, должна найтись сила, способная перекричать толпу, задать ритм, придать ситуации смысл и взять ее под контроль. Предельно редуцируя, можно сказать, что смысл постфевральской смуты 1917 г. заключался в подхваченной и оформленной большевизмом протестной борьбе масс за выживание социального целого и воспроизведение Империи России (как особой формы единения власти и масс, имеющей свои иммунные механизмы и способы обеспечения социально-органической идентичности и цивилизационной преемственности)³³.

В этой связи хотелось бы напомнить слова В. О. Ключевского, в свое время размышлявшего о смысле

массы в историческом процессе: «Не так еще давно из разных лагерей неслись дикие крики, призывавшие к благоговению пред народом, пред черной народной *массой*. На колено пред народом! Учитесь у народа уму-разуму! ...Благоговение пред народом, массой, пред черноземной нашей почвой, пред ее глубокой и широкой нетронутой натурой! Но ведь благоговение возможно только пред сознательной, духовной силой. Имеет ли смысл преклонение пред громадой Монблана? Наш народ совершил много великого, еще не признанного, не оцененного ни им самим, ни благоговейными пред ним народопоклонниками. Но в создании этого великого действовали силы, подобные тем могучим и слепым силам, которые подняли громадные горы. Им можно изумляться, их можно страшиться; всего лучше спокойно изучать их действие и создания; но поклоняться им есть детская нелепость; подозревать в них таинственный глубокий разум есть самообольщение... Что материальнее, бессознательнее чувства самосохранения? А ведь только эта одна могучая сила двигала нашим народом в его великих, гигантских деяниях. Все его малозамечаемые пока историей создания запечатлены резкой печатью борьбы за жизнь...»³⁴

Пожалуй, над этими словами классика стоит серьезно подумать и тем, кто склонен к буквальному пониманию призывов «учиться у масс», и тем более тем, кто полагает массы и массовое сознание чем-то исключительно негативным, мало значимым или просто случайным в истории.

«Февраль» и «Октябрь» как символы проективного россиеведения

Непредвзятый анализ Русской революции 1917 г. убедительно показывает, что объяснять победу Октября над Февралем лишь готовностью к насилию и неразборчивостью в средствах — не только нечестно, но и ненаучно. Причины кроются гораздо глубже, и их трезвый анализ исключительно актуален для российской публичной сферы сегодня.

Смутные времена в имперской истории являются периодами своеобразной «переоценки ценностей», связанной с необходимостью обновления базового комплекса идеологием и воссоединения живой психологической связи между обществом и властью³⁵. *Февраль* олицетворяет идеологическое банкротство государства и психологическое отчуждение масс от властной элиты, утратившей в их сознании имперско-историческую легитимность. *Октябрь* знаменуется приходом к власти политической силы, идеологически и психологически адекватной массам, изоморфной Имперской традиции. И в результате Россия получила простой и суровый ответ на вопрос: «*Если пала корона, удержится ли фригийский колпак?*»³⁶

Цена вопроса была огромна, и сменивший колпак венец оказался терновым. Но по сделанному в 1937 г. горькому признанию Г. П. Федотова (которого сложно заподозрить в излишних симпатиях к большевикам): «Смотря на вещи объективно двадцать лет спустя, видишь, что другого исхода не было; что при стихийности и страшной силе обвала русской государственности Февраль мог бы совладать с разрушениями при одном условии: если бы он во всем поступал как Октябрь»³⁷.

Или, как сформулировал другой антибольшевистский эмигрантский писатель В. С. Кобылин: «Ничего иного после февральского беззакония, кроме большевизма, не могло и не должно было быть»³⁸. А ненавидевший Октябрь А. И. Солженицын так подвел итоги Февраля: «Февральские деятели, без боя, поспешно сдав страну, почти все уцелели, хлынули в эмиграцию и все были значительного словесного развития — и это дало им возможность потом десятилетиями изображать свой распад как торжество свободного духа. Очень помогло им и то, что грязный цвет Февраля все же оказался светлей черного злодейства коммунистов. Однако если оценивать февральскую атмосферу саму по себе, а не в сравнении с октябрьской, то надо сказать... она была духовно

омерзительна, она с первых часов ввела и озлобление нравов и коллективную диктатуру над независимым мнением (стадо), идеи ее были плоски, а руководители ничтожны. Февральской революцией не только не была достигнута ни одна национальная задача русского народа, но произошел как бы национальный обморок, полная потеря национального сознания»³⁹.

Сегодня, как и 95 лет назад, российские либералы зовут всю «думающую публику» под знамя *Февраля*, не уставая вздыхать о гибели «демократической альтернативы», похороненной «темными массами», которые всем либеральным обещаниям предпочли большевистский «кровавый» *Октябрь*.

Для противников такого подхода, напротив, именно *Февраль* является ярким воплощением политической недееспособности либерализма в России, а *Октябрь* служит зримой антитезой пустой *февральской* болтовни оторвавшихся от народных корней партийных функционеров и ориентиром исторического выхода из катастрофического системного кризиса государства и общества, утративших органическое единство и преемственную «связь времен».

Так или иначе, но *Февраль*⁴⁰ и *Октябрь*⁴¹ остаются не только полюсами общественно-политической жизни России в ее смутные времена — они задают смысловые координаты, в рамках которых строится современное проективное россиеведение, вычерчиваются различные варианты траектории «Русского пути».

В заключение, хочется подчеркнуть, что в поисках смысла Русской революции автор настоящей статьи вполне отдает отчет в том, что любая теория, претендующая на логическое объяснение революции, не может быть ни чем иным, кроме ее редукции. И полностью согласен с тем, что «фантазмагоричность "Красной смуты" способна усмирить любую интеллектуальную гордыню» и «тонкая материя» российского бытия находится в более чем своеобразных отношениях с логикой, а потому многообразие ее

проявлений всегда готово посрамить любую теорию»⁴². Но известно и другое: ограниченная в свое качестве теория все же полезнее неограниченных в количестве фактов.

Однако попытки создать такую теорию Русской революции ни в коей мере не означают претензию на монопольное обладание какой-либо «конечной» истиной о ее, революции, «единственном» смысле. Напротив, по этому поводу более обоснованной выглядит позиция Г. З. Иоффе, который как-то признался: «Уже не одно десятилетие и "по службе и по душе" погружен я в историю нашей революции и гражданской войны и решусь сказать: мы не знаем ее или, в лучшем случае, имеем о ней смутное представление. Не хочу, чтобы это было понято так: все же наступит время, когда в процессе познания революционной эпохи мы, наконец, поставим точку и подведем итоговую черту. Нет, историческая наука — это вечный, никогда не прекращающийся спор, так как предмет ее — безбрежный океан жизни, тайны сотен миллионов людских душ. Кто из историков возьмет на себя право сказать: "Я понял их" и загасить свечу на пути к ускользающей истине? Как писал французский писатель Андре Жид: "Доверяйте тому, кто ищет истину, а не тому, кто ее уже нашел"»⁴³ ...

Библиография

¹ Маккей Ч. Наиболее распространенные заблуждения и безумства толпы. М., 1998. С. 14.

² Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М., 2004. С. 31.

³ Там же. С. 32.

⁴ Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Кн. 1—2. М., 1961. С. 492.

⁵ Степун Ф. А. Чаемая Россия. СПб., 1999. С. 99.

⁶ См.: Ферро М. Символика и политика во время революции 1917 г. // Анатомия революции. 1917 год в России: массы, партии, власть. СПб., 1994. С. 366—368.

⁷ Цит. по: Политические деятели России 1917. М., 1997. С. 148.

⁸ Ильин И. А. О сопротивлении злу // Новый мир. 1991. № 10. С. 217.

⁹ Улам А. Б. Большевики: Причины и последствия переворота 1917 г. М., 2004. С. 340, 344.

¹⁰ Ленин В. И. Доклад на I Всероссийском съезде трудовых казаков // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 40. С. 179.

¹¹ Достоевский Ф. М. Подросток // Достоевский Ф. М. Собр. соч. в 15 т. Т. 8. Л., 1990. С. 273.

¹² См., напр.: Краинский Н. В. Без будущего: очерки по психологии революции и эмиграции профессора Н. В. Краинского. Белград, 1931.

¹³ См. также: Марченя П. П. Безумие и логика русской смуты: От Февраля к Октябрю 1917-го // Родина. 2010. № 8. С. 80—81 (Электронный ресурс см: <http://www.istrodina.com/rodina_articul.php3?id=3658&n=162>).

¹⁴ Подробнее см. Марченя П. П. Баба и Смута: К мифу о «не женском лице войны» и прочих социальных бед // История в подробностях. 2012. № 11 (Электронный ресурс см: <<http://users4496447.socionet.ru/files/baba.pdf>>).

¹⁵ Разница во времени: «Любить по-русски»: (Любовь и секс на полях Первой мировой войны сквозь призму военной цензуры) / В. Тольц, А. Асташов, В. Булдаков // Радио Свобода: Запись радиоэфира от 1 марта 2000 г.: <<http://archive.svoboda.org/programs/TD/2000/TD.030100.asp>>

¹⁶ См.: Назаретян А. П. Агрессивная толпа, массовая паника, слухи. Лекции по социальной и политической психологии. СПб., 2004. С. 71—72]

¹⁷ Солоневич И. Л. Указ. соч. С. 89.

¹⁸ Троцкий Л. Д. История русской революции: В 2 т. Т. 1: Февральская революция. М., 1997. С. 128.

¹⁹ Булдаков В. П. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М., 1997. С. 122.

²⁰ ГАРФ. Ф. 1791. Оп. 6. Д. 401. Л. 171.

²¹ Ленин В. И. Речь на I Всероссийском съезде работниц 19 ноября 1918 г. // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 37. С. 186.

²² См.: Василий Буслаев // Былины: Русский героический эпос. Л., 1938. С. 391.

²³ См.: Вышеславцев Б. Русский национальный характер // Русский мир. М., 2003. С. 630—633.

²⁴ Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву // Радищев А. Н. Полн. собр. соч. Т. 1. М.—Л., 1938. С. 230.

²⁵ Подробнее см.: *Марченя П. П.* «Зеленый змий» на службе «Красной смуты»: алкоголь и пьяные погромы от Февраля к Октябрю 1917-го // *История в подробностях.* 2010. № 4. С. 30—42 (Электронный ресурс см: <<http://users4496447.socionet.ru/files/zmiy.pdf>>).

²⁶ *Булдаков В. П.* Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М., 1997. С. 40, 41, 203.

²⁷ См.: *Марченя П. П.* Политические партии и массы в России 1917 года: массовое сознание как фактор революции // *Россия и современный мир.* 2008. № 4. С. 82—99 (Электронный ресурс см: <<http://users4496447.socionet.ru/files/partii.pdf>>).

²⁸ *Даниелян К. Р.* Традиция и правосознание (Историко-политологический аспект проблемы). М., 1999. С. 92.

²⁹ Цит. по: *Германия и русская революция, 1917—1924.* М., 2004. С. 87.

³⁰ *Лукьянов С. С.* Революция и власть // В поисках пути: Русская интеллигенция и судьбы России. М., 1992. С. 279.

³¹ ГАРФ. Д. 401. Л. 152 Об.

³² Там же. Лл. 47, 52, 151—153.

³³ См. подробнее: *Марченя П. П.* Крестьянин и Империя: есть ли смысл у «русского бунта»? // *История в подробностях.* 2010. № 6. С. 88—96. (Электронный ресурс см: <<http://users4496447.socionet.ru/files/krest.pdf>>).

³⁴ *Ключевский В. О.* Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М., 1968. С. 236—237.

³⁵ См.: *Марченя П. П.* «Смута» как проблема отечественной истории: Чему учат системные кризисы России? // *История в подробностях.* 2010. № 5. С. 86—91 (Электронный ресурс см: <<http://users4496447.socionet.ru/files/smuta.pdf>>).

³⁶ *Тихомиров Л. А.* Социальные миражи современности // *Тихомиров Л. А.* Россия и демократия. М., 2007. С. 146.

³⁷ *Федотов Г. П.* Судьба и грехи России. Т. 2. СПб., 1991. С. 134.

³⁸ Из кн.: *Кобылин В. С.* Анатомия измены. Император Николай II и генерал-адъютант М. В. Алексеев: Истоки антимонархического заговора. СПб., 1998 (2007). — Цит. по: *Решетников Л. П.* Духовно-нравственные причины национальной катастрофы // «Русский исход как результат национальной катастрофы» // *Проблемы национальной стратегии.* 2011. № 2 (7). С. 126.

³⁹ *Солженицын А.И.* Размышления над Февральской революцией. М., 2007. С. 93—94.

⁴⁰ См.: *Марченя П. П.* А что за Февралем? Особенности национального политического календаря // История в подробностях. 2012. № 2. С. 92—98 (Электронный ресурс см: <<http://users4496447.socionet.ru/files/fevr.pdf>>).

⁴¹ См.: *Марченя П. П.* Октябрь 1917-го как узловая проблема современного россияведения // История в подробностях. 2010. № 4. С. 76—82 (Электронный ресурс см: <<http://users4496447.socionet.ru/files/okt.pdf>>).

См.: *Марченя П. П.* «Смута» как проблема отечественной истории: Чему учат системные кризисы России? // История в подробностях. 2010. № 5. С. 86—91 (Электронный ресурс см: <<http://users4496447.socionet.ru/files/smuta.pdf>>).

⁴² *Булдаков В.П.* Красная смута. — С. 11, 59.

⁴³ *Иоффе Г.З.* Читая «Архив русской революции» // Архив русской революции. В 22 т. Т. 1—2. М., 1991. С. V. На мой взгляд [*Прим. П. М.*], в этой связи уместной также выглядит и откровенная формулировка принципиальной исследовательской позиции Жака Дерриды: «Я не убежден в своей правоте: я убежден, что это требует осмысления» (*Деррида Ж.* Рана истины или противоборство языков // Отечественные записки. 2004. № 5 (19). [Электронный ресурс]: <<http://www.strana-oz.ru/?numid=20&article=962>>).